

Аполлон Григорьев

**«Роберт-дьявол»**



# Аполлон Александрович Григорьев

## «Роберт-дьявол»

*OCR Busya*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=314282](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=314282)*

*Аполлон Гргорьев «Воспоминания»: «Наука», ленинградское отделение;  
Ленинград; 1980*

### **Аннотация**

Опера Дж. Мейербера «Роберт-дьявол» имела большой успех у русских романтиков: ей увлекались молодые В.П.Боткин и В.Г.Белинский, неоднократно упоминал о ней в своих статьях и А.Григорьев. Данная статья – рецензия на спектакль приехавшей в Москву петербургской немецкой оперной труппы.

# Содержание

I	4
II	13
Комментарии	27

# Аполлон Григорьев

## «Роберт-дьявол»

### (Из записок дилетанта)

#### I

Я жил еще в Москве, я был молод, я был влюблен.

Конечно, моим читателям вовсе не нужно было бы знать ничего этого; но, со времени *признаний* Руссо,<sup>1</sup> люди вообще постепенно усвершенствовались в цинической откровенности, и не знаю, от каких подробностей домашней и внутренней жизни пощадит человечество любой из современных писателей, если только, по его расчету, эти подробности разменяются на звонкую или ассигнационную монету... И он будет прав, разумеется, как прав капиталист, который не любит лежачих капиталов, даже более, чем капиталист, потому что всякая прожитая полоса жизни достается потом и кровию, в истинном смысле этого слова – и, по пословице «с дурной собаки хоть шерсти клок», что же, кроме денег, прикажете вы брать с общества за те бесчисленные удовольствия разубеждений, которыми оно так щедро дарит на каждом шагу?... Да, милостивые государи! в наше время личный эгоизм ни-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду «Исповедь» (1770).

сколько не сжимается, il se gêne le moins du monde,<sup>2</sup> напротив, он нагло выдвигается вперед, как бы мелочен он ни был; он хочет, во что бы то ни стало, сделаться заметным, хоть своею мелочностью: оттого-то в наше время, богатое страданием, стало даже смешно и пошло говорить о страдании, оттого-то болезненная борьба заменилась цинически-презрительным равнодушием, и слово «высокое чело» обратилось в другое слово, более выразительное, и это – извините пожалуйста – «медный лоб». Иметь *медный лоб* – вот высокая цель современного эгоизма, хоть, конечно, не многие еще прямо говорят об этой цели. Хороша ли, дурна ли эта цель – судить не мне, да и не вам, милостивые государи, а конечно только Тому, пред очами Которого длинной цепью проходят мириады миров и века за веками, каждый с своим особым назначением, с своим новым делом любви и спасения...

«Возвратимся к нашим барашкам», т. е. к тому, что я жил еще в Москве, что я был молод и влюблен – и это будет истинное возвращение к пасущемуся состоянию, ко временам счастливой Аркадии, к тем славным временам для каждого из нас, когда общественные условия не заставили еще нас отрастить когти и не обратили в плотоядных животных. Здесь, à propos de bottes,<sup>3</sup> никак не могу я удержаться и не заметить в скобках, что каждый из мирного, пасущегося, домашнего животного делается, смотря по своим природным

---

<sup>2</sup> он ничуть не стесняется (*франц.*).

<sup>3</sup> ни к селу, ни к городу (*франц.*).

наклонностям, *медведем* или *волком*; медведи обыкновенно очень добры, и только бы их не трогали, лежат себе смирно в своей берлоге, думая по-своему о превратностях мира сего, – волки же, как известно, нигде не уживаются.

Итак, я был еще мирным, домашним животным, тем, собственно, что, на грубом техническом языке скотных дворов называется сосунком, а на учтивом общественном – примерным сыном и прекрасным молодым человеком, – хотя чувствовал сильное поползновение отрастить когти...

Я любил... о! как я любил тогда, милостивые государи, – идеально, бешено, фантастически, эксцентрически – смело до того, что даже – о ужас! – позволял себе, в противность предписаниям родительским, просиживать целую лишнюю четверть часа после полночи, что даже – о разврат! – героически проповедовал, в стихах разумеется, презрение к общественному мнению, что даже – о верх нечестия! – писал стихи в месте моего служения, ибо я служил, милостивые государи, с гордостью мог сказать, что целых три года отслужил отечеству, целых три года – так, по крайней мере, значится в моем формулярном списке, потому что, по особенной доброте начальства, в этот формулярный список не вписывались периоды похождения к должности, иногда значительно долгие.

Итак, я любил по всем правилам романтизма; любовь моя «не оставляла ничего желать», как говорят французы, – к довершению всего она была безнадежна и, следовательно,

освещена тусклым байроническим колоритом. Безнадежна же была она потому, что я носил в себе всегда роковое сознание вечно холостой участи, что даже и во сне никогда не видал себя женатым.

Чего бы лучше, кажется? я любил и, к величайшему удовольствию, любил безнадежно. Но тем не менее я страдал самой невыносимой хандрой, неопределенной хандрой русского человека, не «зензухтом»<sup>4</sup> немца, по крайней мере наполняющим его голову утешительными призраками, не сплином англичанина, от которого он хоть утопится в пинте пива, но безумной пеленой, русской хандрой, которой и скверно жить на свете, и хочется жизни, света, широких, вольных, размашистых размеров, той хандрой, от которой русский человек ищет спасения только в цыганском таборе,<sup>5</sup> хандрой, создавшей московских цыган, пушкинского Онегина и песни Варламова.

И вот в один из дней масленицы 184. года больной от хандры, больной от блинов, которые я поглощаю дюжинами, или, точнее сказать, поглощал, потому что это относится к совершенно мифическим временам, – я лежал на своем диване, скучая, как только можно скучать от мысли, что перед вами чуть ли еще не полдня, в которые вам ровно нечего

---

<sup>4</sup> *Зензухт* – тоска (от нем. *Sehnsucht*).

<sup>5</sup> Ср. в поэме Г. «Встреча» (1846):... хандраЗа мною по пятам бежала,Гнала, бывало, со двораВ цыганский табор, в степь родную...

делать. В театре, как нарочно, давали «Льва Гурыча»<sup>6</sup> и какой-то балет; в том доме, где я во время масленицы – этих русских сатурналий – имел право, сообразно предписаниям родительским, быть два раза в неделю, – я уже успел быть два раза, и уйти туда в третий было бы решительным возмущением против домашних догм. Итак, я лежал, не предвидя ни конца, ни исхода этому состоянию, лежал без надежды и ожиданий, по временам только тревожно прислушиваясь, не звенит ли колокольчик, мучитель колокольчик, проведенный наверх снизу, возвещавший с нестерпимым треском и визгливым звоном час обеда, чая и пр.

Часов в пять мальчик мой подал мне книги и записку, по почерку которой я тотчас же узнал одну руку, бледную, маленькую руку, с тонкими, длинными и худыми пальчиками.

– Приказали кланяться-с да велели сказать, что сегодня вечером не будут дома.

Я с трепетом раскрыл записку, первую и единственную, которую получил я от этой женщины, – и перечитал ее несколько раз; искал ли я прочесть между строками или просто глазам моим было весело рассматривать эти умные, чистые, женственно-капризные линии почерка – не знаю; знаю только, что я перечитал несколько раз и... но было бы слишком глупо рассказывать читателям, что я сделал с запискою. А она была между тем проста и суха, как какое-нибудь отношение. «Monsieur, – гласила она, – veuillez bien m'envoyer

---

<sup>6</sup> «Лев Гурыч» – водевиль Д. Т. Ленского «Лев Гурыч Синичкин» (1840).



le trio d'Osborne et de Berio; vous obligerez infiniment voire affectuèe...». <sup>7</sup> И только!

– Так их не будет дома? – спросил я моего мальчика.

– Нету-с.

– Где ж они?

– Не знаю.

Я опять начал перечитывать записку. Скука перестала мучить меня.

Через несколько минут на лестнице послышались чьи-то шаги.

Я поспешно спрятал записку и схватился за одну из множества разогнутых книг, лежавших на столе. Всегда так, с книгою в руках, с глубокомысленным взглядом, имел я привычку встречать разных господ, почти ежедневно являвшихся беседовать о мудрости. Кто бы это? – подумал я. Князь ли Ч \*\*? – и нужно ли будет с видом глубокого убеждения рассуждать о политике. Н\*\* ли? – и должен ли я в одно мгновение придумать какую-нибудь новую систему философии?

Двери отворились, и, против ожидания, вошел, однако, приятель мой Брага.

– Здравствуйте! – сказал я, бросая в сторону книгу.

– Здравствуйте! – отвечал он мне удушливым кашлем, вынимая сигару.

– Да полноте курить, – заметил я, вовсе, впрочем, не ду-

---

<sup>7</sup> «Сударь... не откажите в любезности прислать мне трио Осборна и Берю; вы бесконечно обяжете любящую вас...» (франц.).

мая, чтобы он послушался моего замечания, и вовсе не из участия, всегда более или менее смешного, а так, чтобы сказать что-нибудь.

– Поедьте в театр, – начал Брага, залпом выкуривши четверть регалии.

– В театр?... Да что вам за охота?

– Как что? да вас ли я слышу?... Разве вы не хотите быть в «Роберте»?

– В «Роберте»? – перервал я почти с испугом, – да разве сегодня...

Брага не дал мне договорить и с торжествующим видом показав мне афишу.

– Едемте же скорее, – прибавил оп. – Бертрамисты, я думаю, уже собрались.

Я оделся.

Через полчаса мы оба, Брага и я, входили в кресла.

– Господа, – сказал я, проходя мимо двух отчаянных бертрамистов, сидевших рядом в пятом ряду, – не отставать! К пятому акту переходите в первый ряд.

– Посмотрите на эту ложу, – сказал мне Ч\*\*, указывая на одну из лож бельэтажа, занятую или, точнее, начиненную студентами.

– Вижу, ну что ж?

– Да то, что московский патриотизм сегодня в особенности сильно вооружится на петербургскую Елену.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Петербургская Елена* – певица немецкой оперы М. Нейрейтер.

– А что вы скажете о ней, князь?

– Я? вы знаете, что это не мое дело... Впрочем, по-моему, elle est quelque fois sublime.<sup>9</sup>

– Touchez la,<sup>10</sup> – отвечал я ему, подавая палец руки, и стал пробираться во второй ряд.

– А! вы вечно здесь, – приветствовало меня с важною улыбкою одно звездоносное лицо, под начальством которого я служил или, лучше сказать, которое было одним из многих моих начальств. Это значительное лицо я, впрочем, очень любил: оно, говоря о нем с подобающим уважением в среднем роде, было очень умно и обязательно приветливо.

– Какой вы партии? – спросило оно меня с тою же улыбкою.

– Никакой, в«аше» п«ревосходительство».

– Но, все-таки, pro или contra?

– Скорее pro, в. п., хотя в этом случае буду иметь несчастье противоречить вам.

Значительное лицо обыкновенно вооружалось на танцы петербургской Елены как на верх соблазна и на унижение искусства, но, несмотря на это, бывало в театре каждый раз, когда очаровательница кружилась воздушной Жизелью или плавала и замирала в сладострастной неге, вызванная из праха могил силою Бертрама... И тогда на важной физиономии значительного лица, всегда благородно спокойной, иг-

---

<sup>9</sup> она иногда бывает в ударе (франц.).

<sup>10</sup> Попытайте счастья (франц.).

рала невольная улыбка удовольствия.

Потому при словах: «противоречить вам» я не мог сохранить ровности тона и, почтительно поклонившись, начал искать своего номера, который был подле бенуара.

Я сел и достал из кармана трубку. Ложа подле меня была еще пуста.

Капельмейстер махнул своим волшебным жезлом...

## II

Отдаленный, таинственный, беззвучный раскат грома слышался в адской бездне; он был тих и грозен, как первые предвестники приближающейся бури, как шум сонмища духов, собравшихся восстать на Создателя. Он затих, и после страшной секунды молчания раздался раздирающий звук, голос хулы и отчаяния, нисходивший все ниже и ниже, до соответствующего ему в преисподней. То была целая история падшего духа – роковая, как создание, грустная, как мрак и смерть, быстрая, как молния, падшая с неба. Но звук, падший в бездну, еще раз глухо повторился в ней и, вечный житель вечного неба, начал восходить к нему тем же путём, тою же лестницею звуков, которою совершилось падение... Но когда достиг он своего прежнего пункта и, не остановившись на нем, устремился к иному родственному ему звуку, он был отвержен, и сотня различных инструментов страшным ударом возвестили приговор проклятия. И вновь в адской бездне слышались стоны страдания и падения и сменились потом звуками отчаянной борьбы. Однообразно звучал тот же голос падшего духа, стоном отчаяния призывал он с неба свою жизнь, свою любовь, – и снова слышался роковой, неизменный приговор, и сливался с злобным хохотом демона. Но вот как бы из иного мира, в ответ на заклинание и призыв, слышались плачущие тоны, полные воспоминаний, раска-

нения, примирения, грусти. Они были встречены хохотом хулы и страдания, и голос начал бороться с этими тонами, и они исчезли в массе странных, резких, свистящих звуков. Ад торжествовал свою победу; сильнее и сильнее раздавался голос, сливаясь с свистом бури и с резкими противоречиями страстей, – но снова истекли из этого хаоса светлые звуки, те же, что и прежде, но более торжественные... Они побеждали, голос глухо звучал в бездне, – но он снова собрал все силы и, как огонь, разрушивший последние преграды, поднялся до неба... И вновь зазвучал приговор, зазвучал громовым, неразрешенным диссонансом... Совершилось!.. Драма кончилась непримиренная, неразгаданная, как участь человека.

Зашумела безумная оргия – но и среди ее веселого безумия слышались чьи-то таинственные стоны. Они смолкли. Раздалась песня вину и веселью. Занавес поднялся...

Вот они, веселые рыцари юга, чада Сицилии и Прованса, с песнею вину и любви на устах – они, весело и разгульно порхавшие по жизни, они, поборники кулачного права и верные паладины избранной красавицы... Вот и Роберт, простодушный сын дикой Нормандии, рыцарски честный, добродушный, доверчивый... Но за столом против него сидит другой. Мрачный, печальный, с печатью проклятия на челе, но прекрасный, но величавый в своем падении – он прикован взглядом к Роберту, и в взгляде этом так много страдания, так много любви, так много иронии. Он молчит... изредка только звучный, мужественно-сильный голос соединяется с

песнью оргии... Посреди этих разгульных тонов раздаются иные; так и слышно, кажется, что эти звуки навеяны иной страной, иным небом; они просты, – но простота эта причудлива, как простота средневековых легенд... И действительно – это пилигримы, и один из них начинает свой наивный рассказ: «Ich komme aus der Normandie».<sup>11</sup> И потом он поет страшную балладу, в простых и почти веселых звуках которой слышится невольно что-то иное, леденящее душу, так даже, что и комический ужас трубадура и рыцарей при словах: «Der Teufel gar, der Teufel gar»<sup>12</sup> – переходит в стон настоящего ужаса. Роберт оскорблен. Трубадур у ног его; опять раздается новый мотив: «Ich komme aus der Normandie, mit meiner schönen Braut»,<sup>13</sup> – и за ним исполненный цинизма и суровости речитатив Роберта, на который не менее цинически отвечает хор рыцарей... И вот влекут Алису... Взгляните на нее: она вовсе не хороша, может быть, но в чертах лица ее так много девственной чистоты русских дочерей Севера, но так жалобно звучат ее мольбы среди неистового хора... Зато посмотрите, с какою ирониею глядит на эту сцену Бертрам!.. Но Алиса узнала Роберта, она спасена: бешеная оргия смолкает в отдалении и повторяющимися звуками...

Раздается *ritornello*<sup>14</sup> каких-то свежих, благоухающих, как

---

<sup>11</sup> «Я прибыл из Нормандии» (нем.).

<sup>12</sup> «Это же дьявол, это же дьявол» (нем.).

<sup>13</sup> «Я прибыл из Нормандии, с моей милой невестой» (нем.).

<sup>14</sup> ритурнель, припев (итал.).

цветы, стеклянных звуков. Это ritornello – душа Алисы – чистая и светлая, как сама природа. И весь разговор этих двух простых чад суровой Нормандии полон патриархальной простоты... Но кто это стоит за деревьями? Это опять он, опять Бертрам, колоссальный, недвижимый, как изваяние, с неизменной улыбкою горькой иронии, с гордо поднятым под тяжестью проклятия челом. Это снова он – и таинственным ужасом обвеивает оркестровка рассказа Алисы, тем ужасом, который невольно чувствуешь в час ночи от шелеста деревьев и голосов кузнечиков в траве, ибо, в самом деле, в оркестровке слышен стук кузнечиков, – да и нельзя иначе; Алиса – свежий цветок, дитя непосредственных, природных впечатлений – формы ее чувствований так же просты, как она сама...

Она убежала – воздушная гостья, и Роберт опять глаз-на-глаз с своим демоном. Полный еще свежести и благоухания, он в эту минуту чувствует, что его тяготит влияние Бертрама... «О, Robert, – начинает тот, – zehnmal mehr als mein Leben, nie wirst erfahren du – wie sehr ich dir ergeben...».<sup>15</sup> Демонскою, уничтожающею любовью отзывается это признание, страстное, таинственное, отрывистое. И чудно хорош был Бертрам в эту минуту, чудно хорош, потому что не позволил себе ни одного движения внешнего, человеческого. Это был тот же изваянный образ, с ее средоточенным в груди

---

<sup>15</sup> «О Роберт, (я тебя люблю) в десять раз больше, чем мою жизнь, ты не поймешь, как я к тебе привязан» (нем.).



страданием, с молниеносным и грустным взглядом.

Зала потряслась от рукоплесканий; я не мог перевести дыхания; нечто обаятельное было в этих страстных тонах, в этом бархатно-органном голосе, в этой фигуре, мрачной, неподвижной, прекрасной, в этом прерывистом, скором, нервной дрожью отзывающемся речитативе...

Я сам дрожал, как в лихорадке, – я прикован был к этому колоссальному, страшному, неотразимо влекущему образу. И в сцене игры я и видал бесновавшегося Роберта. Я видел только его, с горькою ирониею на устах, я слышал только из груди исторгавшиеся: «Ja, du bist mein uni singst mit mir...».<sup>16</sup> И потом, когда это страшное явление встало между разъяренным Робертом и рыцарями, все так же спокойное, грустное непреклонно-гордое, – мной овладел почти панический страх.

Занавес упал при замиравших звуках сицилийского напева. Бертрамисты собрались к рампе и вызывали своего любимца.

Я взглянул на ложу бенуара и почти оцепенел от изумления. В ней сидели все знакомые лица, и между ними резко выдавался тонко-очерченный, до невозможности прозрачный профиль, с голубыми лихорадочно яркими глазами, с детски-насмешливою улыбкою. Чудно хороша была она в этот вечер, чудно хороша в черном бархатном платье, с венком из белых роз на темно-русой головке! В ней было так

---

<sup>16</sup> Да, ты мой и поёшь со мной» (нем.).

много грусти, ее бледные пальцы подлиннели так заметно...

Я был под влиянием божественной поэмы, и она слилась для меня с благоухающею, светлою Алисою маэстро... Я понял, что недаром каждое появление ее в маленькую залу одного дома приводило мне всегда на память *gitornello* речитатива Алисы и Роберта.

Почти весь второй акт я проговорил с нею, и только вскользь, как бы сквозь сон, слышались мне обаятельные жалобы Изабеллы; но когда в толпе рыцарей снова явился Бертрам, немногие слова его под такт марша турнира повеяли на душу леденящим ужасом. – Занавес вновь упал под чудные звуки турнира, этой полной, веселой, смелой рыцарской поэмы.

Я вышел в фойе.

– Ну что? – спросил я одного моего приятеля, которого не видал с неделю, – ты *pro* или *contra* Елены?

– Контра, братец, контра – уж какая будет контра! – отвечал он с радушным смехом. – *Наших* собралось много.

– С чем вас и поздравляю, – сказал я.

– Да что, братец! – продолжал он, – как же ее с С\*\* сравнивать.<sup>17</sup>

– Точно нельзя, – подхватил господин зрелых лет с Анною на шее, – помилуйте! – обратился он ко мне, – в ее танцах нет

---

<sup>17</sup> Речь идет о Е. А. Семеновой, известной оперной певице; в сезон 1841/42 г. она дебютировала именно в роли Алисы в «Роберте-дьяволе» «и сразу сделалась любимицею публики» (*Вольф А.* Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года, ч. 1. СПб., 1877, с. 98).

нисколько благопристойности... В «Фенелле»,<sup>18</sup> например, вы ее видели? Просто...

Я не дослушал и ушел. На пути к моим креслам опять я столкнулся с значительным лицом, которое обязательно взяло меня за пуговицу фрака и поправило свой галстук.

– Я говорил сейчас только, – начал он, – об искусстве танцев. Чтобы танцы входили в область изящного, нужно, чтобы они были пластично-благородны.

– Да, как античные изваяния, в. п.

– Гм! – сказала лицо, погладив подбородок, с особенной ему свойственной грацией, потому что, в самом деле, в этом человеке было что-то чрезвычайно грациозное... Вы так думаете?...

– Да, в. п... античные изваяния чисты и целомудренны, и между тем они наги. Прикрывать наготу цветами придумал жеманный разврат периода Возрождения.

– Итак – вы pro! – спросило меня лицо, осклабясь и прищуря глаза, как кот.

– Ни pro, ни contra, в. п.

– T. e. amicus Plato...<sup>19</sup>

– Sed magis arnica Veritas...<sup>20</sup>

Я поклонился и пошел к своему месту, потому что уже началась интродукция третьего акта с ее странными, ломаны-

---

<sup>18</sup> «Фенелла» – опера Д. Ф. Э. Обера, французского композитора (1828).

<sup>19</sup> Платон друг... (лат.).

<sup>20</sup> Но больший друг истина (лат.).

ми звуками, комически страшными и относящимися к дуэту Бертрама и Рембо... Но дуэт этот всегда пропускали на московской сцене, хотя он необходим в поэме, как необходимы гротески в готическом храме. Комизм его дышит ярким сарказмом, ибо до ничтожества мал является человек в этой схватке с холодно-насмешливым демоном.

Подняли занавес. Вот он, как привидение, стоит вдали, прислушиваясь к дикой оргии ада, запечатленной цинически-развратным и вместе глубоко-отчаянным весельем. Но он уже не тот холодный, грозный, сверкающий очами демон; на нем налегло всей силой отчаяние, в этих звуках слышно ему тяготеющее над ним роковое проклятие, и черты, и поза его проникнуты болезненным страданием. Но он так же мрачно неподвижен, он тот же демон... Какую страстную любовь звучит его гордый голос при словах:

Für den Glanz der erblichen,  
Den Ruhm der entwichen...  
Warst du, warst du mein Trost mir geblieben.<sup>21</sup>

Какую сверхъестественную силою одушевлен он, вызывая на борьбу небо и ад!.. Да, в это мгновение артист был истинно велик!.. Он не прибегал ни к каким форсированным жестам, он передавал только глубоко почувствованные ощущения, и потому не побежал, как безумный, после этих адских

---

<sup>21</sup> За померкший блеск, За ушедшую славу Ты остался мне утешением (нем.).

стонов, а пошел тихо, падая под бременем проклятия.

Ад затих. Религиозно-торжественно раздалась гармония целого мироздания, тихая, ровная, светлая; природа почуяла приближение существа, под стопами которого должны расцветать цветы.

И вот, едва ступая легкою ногою, прислушиваясь к отдаленному шуму, явилась она, светлая Алиса... Что мне за дело, что артистка не вполне соответствовала идее композитора? Я слышал только чистый женский голос, я внимал только, забываясь, как ребенок, простые, ребячески-веселые звуки ее песни... Бесконечную прелестью девственности, младенческой чистотою веры благоухает эта песня. Но вот опять зашумел ад, опять раздалась раздирающие, развратные, томительно-отчаянные звуки... Бедное дитя, бедная Алиса... Но чего же ей бояться? «Gott ist mit mir»,<sup>22</sup> – говорит она с детской доверенностью, и опять льется из уст ее простая сельская песня, и опять смолкает ад, и снова слышен только ее голос в целом мироздании, обливающимся розовою зарею при каждом ее шаге, один ее голос, к которому изредка только присоединяются слышные по временам в оркестровке голоса природы.

Взгляните, вот она упала на колена. Бедный ребенок, она не может совладеть с своим ужасом, и льется та же песня, но принявшая религиозную настроенность молитвы, и с этой молитвой соединяется целая природа, как бы явившаяся на

---

<sup>22</sup> «Со мною бог» (нем.).

помощь своему лучшему цветку. В оркестровке так и слышно, как одна и та же мысль проходит по растениям, по волнам реки, по горам. Снова зовут Роберта в адской бездне... и оживотворенная молитвою Алиса бросается к тому, что недавно еще было для нее предметом ужаса, и падает у креста, уничтоженная появлением Бертрама.

Приговор произнесен, воля рока отяготела над падшим духом, и он вырывается из бездны, пораженный проклятием.

Но он опять на земле... Посмотрите, с какою рыцарскою *galanterie*<sup>23</sup> подходит он к Алисе... «O, Alice, was ist dir...».<sup>24</sup> Каким обаянием библейского змея дышат в устах его слова: «Komm zu mir».<sup>25</sup> Да! это он, соблазнитель Евы, вкрадчивый, прекрасный в самом падении, и ему нет сил противустоять.

Но разве Алиса – женщина? Это – цветок, это – стеклянный звук, чуждый страстей и страданий, доступный только чувству стыда и робости. И демон встает перед нею во всем ужасающем величии, и начинается страшная борьба звуков, полная судорожного трепета... Еще несколько тактов борьбы, и вот уже она, слабое создание, лежит на руке его, и он с насмешливой злобою поет над нею: «Du, zarte Blume!...».<sup>26</sup> В этой позе, в этих органно-глубоких звуках артист дошел

---

<sup>23</sup> галантностью (*франц.*).

<sup>24</sup> «Алиса, что с тобою...» (*нем.*).

<sup>25</sup> «Подойди ко мне» (*нем.*).

<sup>26</sup> «Ты, нежный цветок!...» (*нем.*).

почти до нес plus ultra<sup>27</sup> трагического величия, и когда, при приближении Роберта, раздалась последняя, до бесконечности низкая и между тем все так же бархатная нота, я готов был вскочить с своего места.

И потом, как грозно-таинственно, как лихорадочно-трепетно звучал этот голос в рассказе Роберту о пещере Розалии, каким адским хохотом заливался он в знаменитом дуэте!

Облака закрыли сцену при последних тактах дуэта. Поднялись какие-то могильные, дрожащие, грустные звуки...

Пещера Розалии. На ночном небе мелькают светила... Голос сатаны повелительно зовет их с неба на землю: торжеством, отчаянием веет это призывание, оканчивающееся, впрочем, горестным сознанием: «Ich verdammt so wie ihr...».<sup>28</sup> Опять почти невыносимо высок был артист в этом монологе!

Вот блудящие огни засверкали на гробах, вот под однообразно унылые звуки начали лопаться крыши... Вот они, дочери греха и соблазна, обаятельные, страстные, бесстыдные. Вот льются какие-то прыгающие, беснующиеся, адские звуки ужасающей, могильной, богохульной радости, они собрались все, легкие, воздушные тени, они снова хотят жить и наслаждаться... Но они ждут кого-то.

И под звуки бесовской, безумной музыки пронеслась по

---

<sup>27</sup> крайней степени (лат.).

<sup>28</sup> «Я так же проклят, как и вы...» (нем.).

сцене она, верховная жрица наслаждения, вавилонски-сладокрастная грешница... О посмотрите, посмотрите, как хороша она, как нага она, как она возвышенно-бесстыдна, как негою и томлением дышит ее каждое дыхание! Да! это искусство, это искусство, принесшее в жертву ложную жеманность, это апофеоза страсти, апофеоза томления – в очах безумство, в каждом движении – желание. Посмотрите, с каким умоляющим видом молит она Роберта, как жадно пьет она кубок, как нежно-сладокрастно подает его. Посмотрите, как потом, под томительные звуки виолончеля, под эту вакханально-нежную, под эту обаятельно и тонко-развратную музыку, она то плывет в море сладостных грез, то с пылом желания стремится на грудь Роберта, то манит и зовет, то замирает в безумном, неистовом лобзании... О да! это искусство! честь и слава искусству!

Но вновь запрыгали бесовские звуки... из бездн вырвались духи. Час ваш пробил, воздушные тени. А она – царица теней, посмотрите, как отчаянно вырывается она из когтей бесов, какой змеею ускользает она, но тщетно, тщетно... Час твой пробил, приговор произнесен над тобою, жрица страстей!

Оглушительный гром рукоплесканий потряс залу театра. Искусство торжествовало.

Я вышел, чтобы отдохнуть от впечатлений и чтобы не видеть четвертого акта, исполняемого всегда убийственно, – и возвратился тогда уже, когда оркестр начал хор пустыни-



ков.

Страшное действие производила на меня всегда интродукция перед явлением Роберта и Бертрама; в этих ломаных звуках высказалась вся завязка драмы. Роберт влечет Бертрама – и начинается борьба неба и ада, религиозных песней с проклятиями демона. Бледный, истерзанный, неподвижный Бертрам полон рокового сознания гибели. Но – какую сатанинскую любовью дышит каждый звук его, как стесняют грудь его слова: «Wähle nunmehr, Robert...»,<sup>29</sup> его признание, его мольбы... «Приговор произнесен!» – говорит Роберт, – появляется Алиса.

Я затаил самое дыхание. Декорации исчезли передо мною; в каком-то тумане виднелись и светлый дух, и опаленный проклятием демон... Апокалипсическая, неземная драма совершалась передо мною... артист был выше всех трагиков в мире, когда раздирающим голосом, изнеможенный, истерзанный, на коленях, не пел, но стонал скорее:

Mein Sohn, mein Sohn, lass trostlos mich nicht sterben,  
Seh, ich knie vor dir...<sup>30</sup>

Посыпались адские диссонансы борьбы, страдания, отчаяния, молений... Я почти выбежал из театра, в моих ушах

---

<sup>29</sup> «Выбирай сейчас же, Роберт» (нем.).

<sup>30</sup> «Сын мой, сын мой, не дай мне умереть безутешным, Смотри, я на коленях пред тобою» (нем.).

звучало «Seh, ich knie vor dir...». Мне не хотелось после этого слушать довольно мескинного<sup>31</sup> окончания величайшей из трагедий.

---

<sup>31</sup> *Мескинный* – пошлый, жалкий (от *франц. mesquin*).

# Комментарии

Впервые: «Репертуар и пантеон», 1846, № 2, с. 244–256 за подписью «А. Трисмегистов». Перепечатано: *ЧВ*, с. 208–230.

Опера Дж. Мейербера (либретто – Э. Скриба и К. Делавиня) «Роберт-дьявол» (1831) имела большой успех у русских романтиков: ей увлекались молодые В. П. Боткин и В. Г. Белинский, неоднократно упоминал о ней в своих статьях и Г. Данная статья – рец. на спектакль приехавшей в Москву петербургской немецкой оперной группы (см. в воспоминаниях А. А. Фета – с. 320). Позднее Г. перевел либретто оперы на русский язык (СПб., 1863).

Ср. у Полонского: «Григорьев <...> так же, как и все мы, восхищался Мейербером. Адский вальс из «Роберта-дьявола» в полном смысле слова потрясал Григорьева» (*Полонский*, 660); ср. также в воспоминаниях журналиста И. В. Павлова о Г. в 1843 г.: «Как теперь помню, сел он за рояль и, наигрывая что-то из „Роберта-дьявола“, читал нам „лекцию“ о мейерберовской музыке: „Здесь умоляющий голос Алисы, а тут – немолчный голос Демона“» (Учен. зап. Тартуского унта, 1963, вып. 139, с. 343).

Содержание оперы заключается в попытках Бертрама, дьявола, овладеть душой рыцаря Роберта, его сына от земной женщины; крестьянка Алиса, молочная сестра Роберта, своей чистотой и религиозностью мешает Бертраму; в фина-

ле замысел дьявола рушится и он в одиночестве исчезает в преисподней.